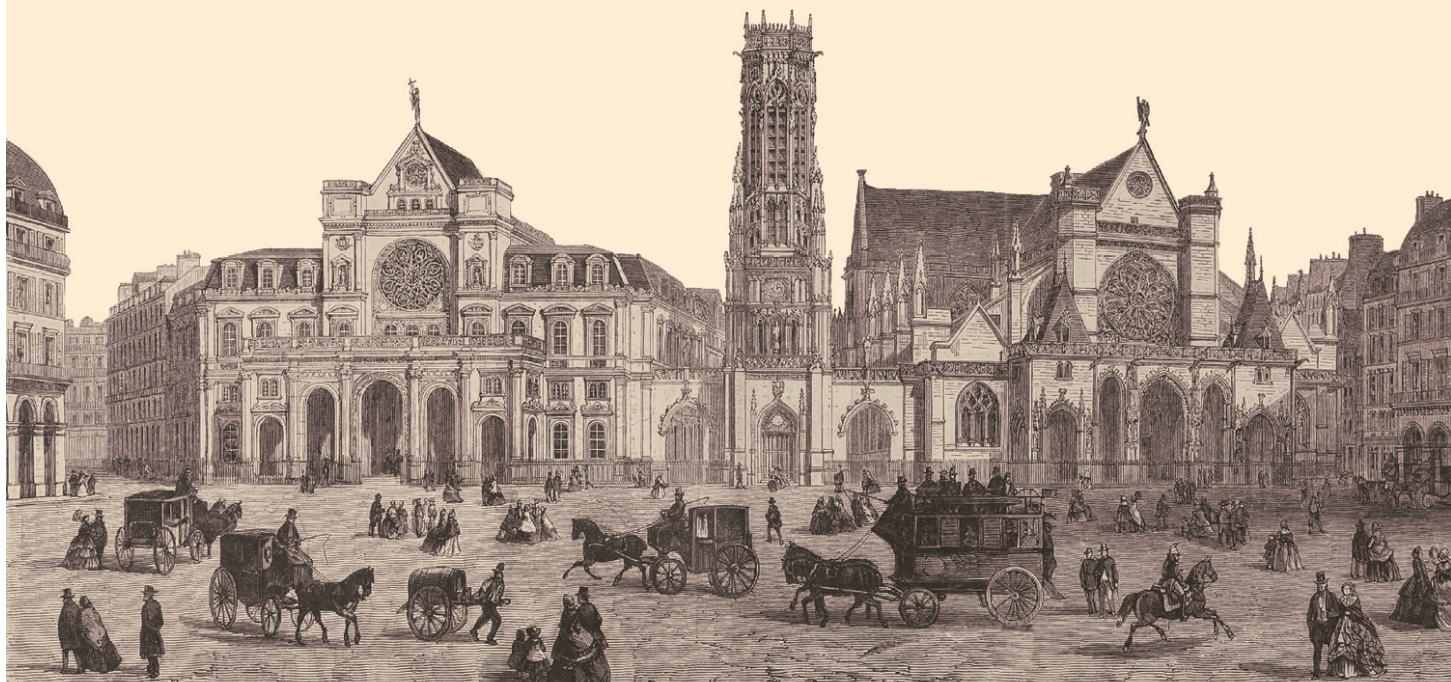


ЛАУРЕАТ «РУССКОЙ ПРЕМИИ»
АВТОР «ПАРОХОДА В АРГЕНТИНУ»

АЛЕКСЕЙ
МАКУШИНСКИЙ

ПРЕДМЕСТЬЯ МЫСЛИ

...
философическая
прогулка



РОМАНЫ АЛЕКСЕЯ МАКУШИНСКОГО —
ИДЕАЛЬНАЯ ВЗЛЕТНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ МОИХ ФАНТАЗИЙ.

— АЛЕКСАНДР ЖУРБИН

Алексей Макушинский

**Предместья мысли.
Философическая прогулка**

«ЭКСМО»

2020

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Макушинский А. А.

Предмесья мысли. Философическая прогулка /
А. А. Макушинский — «Эксмо», 2020

ISBN 978-5-04-108277-2

Перед нами – философическая прогулка Алексея Макушинского по местам, где жили главные «герои» книги – Николай Бердяев и французский теолог Жак Маритен. Гуляя, автор проваливается в прошлое, вспоминает и цитирует поэтов, философов и художников (среди них: Лев Шестов и его ученики, Роден и Рильке, Шарль Пеге, Марина Цветаева, Альбер Камю), то и дело выныривая обратно в современность и с талантом истинного романиста подмечая все вокруг – от красных штанов попутчика до фантиков на полу кафе. Читать такую прозу – труд, вознаграждаемый ощущением удивительной полноты мира, которая, как в гомеровские времена, еще способна передаваться с помощью слов.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-108277-2

© Макушинский А. А., 2020
© Эксмо, 2020

Алексей Макушинский

Предместья мысли

философическая прогулка

Художественное оформление серии Елены Окольной

© Макушинский А., 2020

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

* * *



Философическая прогулка
à Catherine Brémeau

Ideas are always wrong.
William Bronk

Exercer l'activité philosophique...
c'est perdre le Sens.
Rachel Bepaloff

Бердяев жил в Кламаре. Он поселился в этом (юго-западном) пригороде Парижа в 1924 году вместе со своей женой Лидией, сестрой Лидии, Евгенией Рапп, и матерью сестер, Ириной Васильевной Трушевой, почти сразу после их переезда во Францию из Германии, куда они прибыли двумя годами ранее на пресловутом «философском пароходе», лишившем Россию ее лучших умов. Кламар незаметно переходит в Мёдон, другой парижский пригород, тоже славный многими великими обитателями, русскими и нерусскими; Мёдон, в свою очередь, превращается в Севр, более всего знаменитый своим фарфором (и мы о нем говорить здесь не будем). В Мёдоне с 1923 до 1939 года жил Жак Маритен, католический философ, «неотомист», то есть последователь Фомы Аквинского, вообще замечательный человек. Маритен был женат

на русской еврейке, Раисе, урожденной Уманцевой (в другом написании – Умансовой, в еще другом – Уманцовой, Oumançoff), у которой тоже была младшая сестра – Вера, – тоже, как и Евгения Рапп, прожившая почти всю свою жизнь вместе с сестрой и зятем. На этом сходства семейств не заканчиваются; поговорю о них позже. И у Бердяевых в Кламаре, и у Маритенов в Мёдоне дом был открытый; и там и там происходили собрания, философские, католические, всяческие. «Я познакомился с Ж. Маритеном в самом начале своего пребывания в Париже, в 25 году», – пишет Бердяев в «Самопознании» (своей, иногда мне кажется, лучшей книге). «У меня было предубеждение против томизма, против католической ортодоксии, против гонения на модернистов. Но Маритен меня очаровал. Уже самая внешность Маритена мне очень понравилась. В нем было что-то очень мягкое, в противоположность его подчас жесткой манере писать, когда речь шла о врагах католичества и томизма. У нас скоро установились с Маритеном самые дружеские отношения. Я его очень полюбил, что при моей сухости случается не часто. Думаю, что меня он тоже любит». Все это замечательно; и любовь, как мы знаем, это самое главное, и в жизни, и в философии, и в литературе, и в фотографии, и вообще во всем, что мы делаем. Мое собственное отношение к Бердяеву я бы именно этим словом и определил. Я люблю его; полюбил его, когда мне было лет восемнадцать; люблю с тех пор до сих пор. Но, разумеется, и в голову не приходит любимому философу моей молодости сообщить читателю – как: как, собственно, добирался он (один или с Лидией, или с Евгенией, или с ними обеими, или с кем-нибудь из друзей, с отцом Сергием Булгаковым, с Георгием Федотовым, а то, может быть, и в сопровождении Льва Шестова, что было бы для нас еще радостней, еще интересней) из Кламара в Мёдон; он пишет об идеях, а не о жизни. А он ходил к Маритенам пешком; быть может, не всегда и не всякий раз; но все же, как рассказала мне моя живущая на самой границе Мёдона и Севра знакомая, Катрин Бремо, всю жизнь занимающаяся Россией, русским языком, русскими эмигрантами, обитателями этих парижских пригородов – а русские эмигранты в двадцатые, в тридцатые годы, то есть в лучшую эпоху эмиграции, эпоху ее трагического расцвета, любили селиться в пригородах (дешевле; и можно в лес пойти погулять...) – все-таки, и похоже – как правило, Бердяев к Маритенам ходил пешком; едва я услышал об этом, как что-то во мне щелкнуло, вспыхнуло; искра пробежала; рычажки и кнопки переключились, и я понял, что мне нужно делать; мне нужно, понял я, пройти этот путь, от дома Бердяева в Кламаре (83, rue du Moulin de Pierre; во Франции номер дома пишут перед названием улицы) до того дома, где в Мёдоне жил Маритен (теперешний адрес: 10, rue du Général Gouraud; до войны улица называлась иначе).

В Кламар идет поезд с вокзала Монпарнас, вернее, останавливается в Кламаре поезд, с вокзала Монпарнас идущий в Версаль, в Рамбуйе. Я жил в тот приезд в Париж у друзей на противоположном конце города, на Porte de Bagnolet; я собирался доехать на метро по третьей линии до станции Réaumur – Sébastopol, там пересесть на четвертую, через самый центр (Châtelet, Cité, Saint-Michel) доходящую до Montparnasse-Bienvenue. В вагоне обнаружился средних лет дяденька, в черных очках, черном свитере и красных штанах, пытавшийся подзаработать пением какой-то мне, в отличие, может быть, от других пассажиров, неизвестной французской песенки, исполняемой им под аккомпанемент синего аппарата, висевшего у него на шее, испускавшего хрипловатые гитарно-аккордеонные звуки; у дяденьки тоже не было, увы, ни слуха, ни голоса. На Père Lachaise он отправился петь в соседний вагон; тут же, наискосок от меня, обнаружился персонаж не менее примечательный, пожилой и очень толстый, с седыми, ангельскими, взлохмаченными кудряшками и выражением лица тоже отчасти ангельским – обиженно-ангельским, я подумал, – в белой рубашке и с розовым рюкзаком – для запасных крыльев – с надписью Рима. Персонаж порывался со мною заговорить, я тоже не прочь был побеседовать с ним; на станцию, где я должен был пересаживаться, влетели мы слишком быстро. Парижские поезда не въезжают, но именно влетают на станции со своим особенным шипящим звуком, не похожим ни на какой другой звук ни в каком другом

метро из мне, по крайней мере, известных; едва собрался я углубиться в очередной бесконечный коридор, из каковых парижское метро, в общем, и состоит, как увидел на стене надпись, сообщавшую мне и всем прочим просвещенным путешественникам, любителям русской религиозной философии или, наоборот, adeptам неотолизма, что платформа четвертой линии на станции Montparnasse-Bienvenue закрыта на ремонт, поэтому лучше будет для просвещенных путешественников, если они возвратятся на третью, доедут по ней до вокзала Saint-Lazare и там уже переседут на зеленую, двенадцатую ветку, тоже идущую на Монпарнас. Я был вознагражден еще одним чарующим персонажем, сидевшим, как и я сам, на откидном сиденье в конце вагона и очень прилежно, очень похоже, красным химическим карандашом, мелкими, быстренькими штришками рисовавшим других пассажиров; у персонажа была заострявшаяся, как его карандаш, полуседающая рижельско-мазариниевская бородка, прямиком из семнадцатого века перенесенная в семнадцатый год двадцать первого (в 29 марта 2017 года, день моего кламарско-мёдонского, только-только начавшегося паломничества); еще были узенькие очки в ярко-зеленой, прикольной, пижонской, чуть-чуть фосфоресцирующей оправе. Непонятно было, как эта бородка с этими очками уживались, и так мирно, на одном, и даже не очень с виду сумасшедшем лице; непонятно было также, как ухитрялся он рисовать в поезде, шатком и броском, как все парижские подземные поезда; как не тряслись у него руки. Руки у него не тряслись, и на меня, пытавшегося, в свою очередь, сохранить в записной карманной книжке, пусть первыми, приблизительными и как раз трясушимися словами, его бородку, его очки и потому смотревшего на него почти так же, как он сам смотрел на свои сменявшиеся модели, поднимая голову от блокнота и вновь ее опуская, – на меня, мне показалось, он никакого внимания не обратил; если обратил, то виду не подал; сошел вместе со мною; исчез навсегда за очередным загибом очередного бесконечного коридора, заполненного, как все эти коридоры, гулким стуком шагов, убывающими, убегающими голосами подземных странников, призрачных путников.

Поезд в Клармар идет всего семь минут; я дольше ждал его отправления, чем ехал, дождавшись; глядя на пустую платформу, стараясь не слушать громкий, грубый арабский голос, не убывавший, увы, ни на секунду и не убегавший, увы, никуда, но все говоривший и говоривший, в растущем раздражении, по мобильному телефону у меня за спиной, вспоминал я – и нет, не мог вспомнить, как звали того персонажа моей молодости, моих восемнадцати лет, который дал мне почитать (не «на одну ночь», но тоже, наверно, ненадолго) «Истоки и смысл русского коммунизма» в классически блеклой самиздатовской перепечатке. Его звали – Миша? Его звали, кажется, Миша, но почему-то все называли его по фамилии – Миша и еще как-то, и вот не могу теперь вспомнить как; помню только его большие очки; ощущение опасной странности, от него исходившее. Я познакомился с ним в Тарханах, в музее Лермонтова, в неправдоподобной, как мне казалось тогда, глуши, где летом 1978 года проработал месяц экскурсоводом, – моя первая попытка самостоятельной жизни, первое бегство из дому, из замкнутого, безопасного, постыдно благополучного внешне и совсем неблагополучного внутренне московского мирка, в котором я вырос. Я жил в избе, в условиях довольно ужасных; дружил, разговаривал и ходил за грибами с людьми замечательными, каких никогда не встречал прежде; там жившими, работавшими в музее; или, как я сам, приехавшими на лето. Вдумчивым экскурсантам из Воронежа и очаровательным экскурсанткам из Липецка рассказывал я всякие небылицы (вот любимый *бабушкин* столик, а вот на этом диване под литографией с картины Гвидо Рени сидел *сам Мишель*; и диван, и столик были всего лишь *похожие*, какие *могли быть* – настоящие все погибли, то ли мужики их порубили на дрова в революцию, то ли как-то по-другому они пропали); а зачем там был этот Миша (если так его звали, или это услужливая память мне подсовывает *Мишу* в честь Лермонтова?) – зачем он там был и что делал, я уже сказать не могу; возможно, какие-то сердечные дела, сентиментальные обстоятельства привели его в бывший Чембарский уезд (тогдашний и нынешний Белинский район; пыльный,

грустный, очень затрапезный Чембар, куда однажды я съездил, – родина, как-никак, неистового Виссариона) бывшей Пензенской губернии (тогда и ныне, соответственно, области). Из Пензы мы с ним вместе летели в Москву. В руках у меня была, помню, авоська с двумя банками маринованных – или соленых? никогда не мог понять разницу – белых грибов, собранных мною вместе с дамой, с которой меня самого связывали некие сентиментальные обстоятельства (и которую мне больше не суждено было увидеть); ожидая посадки, стояли мы за столиком в аэродромном буфете, где подавался тот незабвенный, прямо из ведра наливаемый советский кофе с молоком, примерно такое же отношение имевший к молоку и кофе, как диван и столик в музее Лермонтова к настоящему столику, подлинному дивану; здесь был столик высокий, валкий, круглый и грязный; под столешницей обнаружился крючок для сумок; то ли он отвалился, то ли промахнулся я, нацепляя на него лямки моей авоськи; в общем – все рухнуло; пахучей жижей растеклось по изумленному полу. Хорошие грибочки... были, провозгласил Миша (если его звали Мишей... и даже если его не звали Мишей, он все равно сказал так; вот это точно, и навсегда, я запомнил). Очки его поблескивали несочувственно; во всем его облике что-то было от предшествующей эпохи, от шестидесятых годов. А он и был человеком шестидесятых; ко времени нашего с ним, очень краткого, вскоре, Бог знает почему, прекратившегося знакомства, ему уже было, наверное, лет тридцать, если не тридцать пять. А ведь с тех пор прошло еще тридцать девять, почти сорок, целая жизнь, думал я в вагоне все никак не отправлявшегося в Кламар поезда, по-прежнему стараясь не слушать арабский грубый голос у меня за спиной и отчетливо вдыхая свежий скользкий запах тех давних, дивных, разбиившихся на пензенском аэродроме грибочков (вместе с банкой разбились и сентиментальные мои обстоятельства; а какой другой была бы эта – целая жизнь, какими другими эти – тридцать девять лет, если бы возвратился я в ту глушь и к той даме, любительнице долгих прогулок). В самолете не было заранее предписанных мест, любой пензяк со всеми своими тюками, пензячка со всеми своими сумками садились куда ему и ей вздумается, и самолет был очень допотопный, очень пропеллерный, не летел, а проваливался, падал, взмывал и дрожал, когда же долетел, наконец, до Москвы, то приземлился аж на Быковском аэродроме, где не бывал я ни до, ни после того, куда не знал даже, что садятся еще самолеты, и откуда мы добирались до города, до Казанского вокзала, на электричке, переполненной кротовскими дачниками, с недоброжелательным удивлением смотревшими на наши очень не-дачные чемоданы и рюкзаки (в моем был спальник мешок, которым, ночуя в избе, пытался я защититься от идиллических ароматов, романтических насекомых); взяв такси на вокзале, ни о чем, кроме как о горячей ванне, химическом благоухании пены, я думать уже не мог. Что бы ни говорили Руссо и Толстой, цивилизация – великое дело, хорошая вещь.

Все перепуталось навек, Россия, Лета и Лорелея, и может быть – да, может быть – нет, был – или не был этот Миша (не-Миша) как-то связан с диссидентскими (так скажем) кругами, или кто-то, наоборот, предупредил меня, чтобы я с ним держался поосторожнее, потому что связан-то он связан, а репутация у него подмоченная, человек ненадежный... все это теперь расплывается перед моим внутренним взором, спустя жизнь и вечность, а вот все же что именно он дал мне, осенью все того же 1978 года, заветный, драгоценный, опасный экземпляр поздней бердяевской книги «Истоки и смысл русского коммунизма», с классической самиздатовской блеклостью перепечатанный на машинке, – это точно, это было наверняка; и вот тут-то, впервые в жизни, я вообще что-то понял про «русский коммунизм», его «смысл», даже его «истоки». Дорого дал бы теперь, чтобы прочитать эту книгу своими тогдашними глазами. О Лермонтове Бердяев упоминает там только единожды, цитируя его – «профетические» – стихи о грядущей революции, черном годе России, когда царей корона упадет, и о мощном человеке с булатным ножом в руке, который посмеется, читатель, над твоим плачем и стоном... Зато немало пишет о неистовом Виссарионе, о его продолжателях, о Чернышевском, о Писареве, о которых в восемнадцать лет я только то и знал, что мне в советской школе о них рассказы-

вали, – и следовательно, знать ничего не хотел, – о русском марксизме, о Михайловском, Лаврове, Ткачеве, о Ленине, еще прищуривавшемся на меня изо всех углов, со всех стен. Здесь впервые, кажется мне теперь, прочитал я, что коммунизм – своего рода псевдорелигия, эрзац-религия, потому и борющаяся так яростно со всеми другими религиями, что видит в них конкурентов; мысль, которая теперь кажется едва ли не трюизмом, так много я читал и думал об этом с тех пор; которая поразила меня тогда. Запретный плод сладок? Запретный плод сладок безмерно; ничего на свете нет слаще. Я был антисоветчиком «стихийным», теперь стал «сознательным» (чтоб уж воспользоваться любимыми словечками только что – не к ночи – помянутого прищура). Все-таки дело было не в воспитании юного антиленинца. За этой первой книгой последовали другие – «О рабстве и свободе человека», «Самопознание», – навсегда оставшиеся моими любимыми; и там речь шла уже о совсем иных, бесконечно более важных вещах.



Был у меня – настоящий, в отличие от этого случайного Миши, – друг, которого в «Городе в долине» я назвал Тихоном; сохраняю за ним это имя; тогда жил он, помнится мне, в коммуналке на Никитском бульваре (в ту пору еще – Суворовском); убогая его комната вновь и вновь превращалась в пункт обмена нелегальной литературы, в табачном дыму. С коммунизмом и его прищурами разобрались мы довольно быстро, а вот «экзистенциальная диалектика божественного и человеческого» – с ней разобраться мы не надеялись, но почти ни о чем другом в какие-то месяцы жизни говорить уже не могли. Был табачный дым в комнате, серыми клочьями висевший над нашими головами, затем устремлявшийся в форточку, из которой тянуло ледяным ночным воздухом. Мы и сами выходили в снежную ночь. Вокруг была притихшая, пустынная Москва того времени, теперь уже и не вообразимая более; пустынная, притихшая и огромная, словно дожидавшаяся чего-то (без большой, впрочем, надежды, что это что-то настанет); пролетала, шурша шинами, брызгая разъезженным снегом, одинокая «Волга»; тормозил у светофора еще более одинокий «Москвич» (из той породы, каких ныне уже не увидишь); окончательно одинокие снежинки кружились под фонарем на углу тогдашней улицы Герцена, возле кино с патетическим названием «Кинотеатр повторного фильма», выкрашенного (если память меня не подводит) в бледный, блеклый, голубовато-зеленоватый, в себе самом неуверенный цвет (кино, в которое, случалось, заходили мы с Тихоном, поскольку и в самом деле пока-

звали там фильмы иногда замечательные, каких больше нигде уже было не посмотреть, хотя и не такие редкие, разумеется, какие показывали в «Иллюзионе» на Котельнической набережной: таких фильмов, какие там показывали, больше вообще нигде не показывали; три – или четыре? – или сколько раз подряд, в этом «Повторном фильме», смотрел я, помнится мне, никогда не забудется, картину Антониони «Профессия: репортер» с великолепным Джеком Николсоном и прекрасной, пленительной Марией Шнейдер в главных ролях; картину, в которой видел тогда – справедливо или нет, уж другой вопрос – один большой призыв к свободе; которую попытался недавно посмотреть снова, – и, честно признаюсь, заскучал). Свобода, конечно. Призыв и прорыв к свободе – вот что было главное в ту далекую пору, не потому лишь, что мы жили в очень несвободной стране. Да речь и шла не о политической свободе, во всяком случае, не только о ней, о ней не в первую очередь. А, собственно, о какой же? Сказать: о «внутренней» или «тайной» – значит ничего не сказать. И вовсе не была она только тайной и внутренней, эта искомая нами свобода. Но это была свобода в каком-то всеобъемлющем, преображающем жизнь смысле, включавшем в себя и внутреннее, и внешнее, и тайное, и открытое, свобода в том изначальном, ни к чему другому не сводимом, ни из чего не выводимом смысле, в каком она и предстает у Бердяева. «Меня называют философом свободы, – пишет он в „Самопознании“. – Какой-то черносотенный иерарх сказал про меня, что я „пленник свободы“. И я действительно превыше всего возлюбил свободу. Я изошел от свободы, она моя родительница. Свобода для меня первичнее бытия. Своеобразие моего философского типа прежде всего в том, что я положил в основание философии не бытие, а свободу. В такой радикальной форме этого, кажется, не делал ни один философ. В свободе скрыта тайна мира. Бог захотел свободы, и отсюда произошла трагедия мира. Свобода в начале и свобода в конце. В сущности, я всю жизнь пишу философию свободы, стараясь ее усовершенствовать и дополнить. У меня есть основное убеждение, что Бог присутствует лишь в свободе и действует лишь через свободу. Лишь свобода должна быть сакрализована, все же ложные сакрализации, наполняющие историю, должны быть десакрализованы. Я сознаю себя прежде всего эмансипатором, и я сочувствую всякой эмансипации. Я и христианство понял и принял как эмансипацию». (Хотел оборвать или сократить цитату – и не сумел; так в ней все характерно.) При всем несходстве с Бердяевым, при всех разногласиях с ним – ну конечно, я могу это сказать о себе. Я тоже «изошел от свободы», она и моя «родительница» (я только христианство никогда не мог ни понять, ни принять как эмансипацию, но эмансипацию понимаю как эмансипацию в том числе и от христианства). Вот этот «примат свободы над бытием», как его называет Бердяев, он же примат частного над общим, личности над социумом – и вообще над чем угодно, он же, в сущности (о чем мне предстоит еще говорить), примат «динамики» над «статикой», «диалога» над «монологом», этот последовательный персонализм – все это навсегда осталось во мне, как то (незыблемое) основание, на которое уже могли потом (и могут теперь) наслаиваться мои с ним разногласия. Мы об этих позднейших разногласиях тогда с Тихоном, конечно, не думали. И мы не просто так гуляли, наверное, по затаившейся и притихшей Москве – хотя и это случалось, – но все-таки чаще шли мы еще к кому-нибудь и куда-нибудь, только вот я не могу уже вспомнить куда, к каким-то, что ли, девушкам на Самотеку, отдаваясь той ночной и разгульной жизни, которой, я думаю, и нельзя не отдаться в восемнадцать и в девятнадцать лет, какие бы книги ни формировали тебя в то же самое время, которая, впрочем, довольно скоро мне надоела.

Париж не успевает отступить далеко за семь железнодорожных минут: с дебаркадера Клармарского вокзала видна, по левую руку, возлюбленная Эйфелева, по правую – Монпарнасская башня, черная, страшная; видны крыши, дальние, ближние; небо над крышами; верхние этажи послевоенных, для нового массового общества возведенных домов, теперь уже тоже не новых, в свою очередь постаревших. А что видел Н.А.Б., сходя здесь с поезда, после заседания в УМСА, лекции в Религиозно-философской академии или собрания Пореволюционного клуба

у И. И. Фондаминского? Вон ту крышу, тот тополь, то облако? Да и смотрел ли на все это? или думал о Якобе Бёме? о статье для ближайшего номера «Пути»? об очередной новой книге? А вид и вправду не замечательный – всего лишь предвестие и только предзнаменование того *прекрасного вида* (Bellevue...) на *весь Париж*, который (вид) ждал меня в конце моего пути, ждет – меня и читателя – в конце книги (скажу это сразу), с вершины Мёдонского холма, из парка и с террасы, где был некогда замок, сгоревший сперва в революцию, затем во время Франко-прусской войны, где теперь обсерватория (значит – звезды, к которым всякая книга и должна, наверно, стремиться). А тишина на этой Клармарской станции, в семи минутах езды от Парижа, уже почти сельская. Электричка удаляется; уменьшается; убывает и исчезает; два пассажира, сошедшие вместе с тобою, исчезают тоже, обгоняя друг друга; и ты совершенно так же стоишь на перроне, с тем же ощущением невозможности сразу справиться с внезапным переходом от движения и шума к молчанию, покою и философской рефлексии, как на любой платформе, подмосковной и пригородной, тридцать девять или двадцать девять лет тому назад, в Кратове, в Отдыхе, в Переделкине или (да простят меня музы...) Мичуринце.



Станция перестраивалась; поверх громадного котлована, обнажавшего внутренности мира, трубы и сваи, бетономешалки и камнедробилки (замечательные бетономешалки и восхитительные камнедробилки); проходил навесной, временный, тоже: ярко-, даже: яростно-синий мост, явно стремившийся вступить в цветовой спор с дробилками и мешалками; в конце концов приведший меня на привокзальную площадь, где внутренности мира закрылись.



На площади обнаружились дома, еще совсем не сельские, вполне городские; отчасти даже торжественные; среди них – два кафе: кафе «Приезд» (De l'Arrivée) и кафе «Отъезд» (Au Départ); я – приехал и уезжать не собирался, но зашел все-таки во второе. Туалет закрывался там на очень импровизированный крючок; за стойкою, продавая сигареты и кофе, стояли две, почему-то, японки, похоже – сестры; местные мужики, пившие кто пиво, кто кофе, с явным удовольствием, гордясь своими познаниями, объяснили мне, как пройти на улицу Петровой Мельницы (rue du Moulin de Pierre; интересно, кто был этот Петр? или это вообще никакой не Петр, но – камень, и значит – мельница из камня? Значит, и улица Каменной Мельницы?). Я у них спросил об этом *так*, на всякий случай; перед выездом из Парижа вдохновенные полчаса посвятил я общению с программой Google Maps, во всех подробностях и тоже с удовольствием рассказавшей мне, как дойти от бердяевского дома до маритеновского – и как до первого из них дойти от вокзала в Клараре: по проспекту Жана Жореса до улицы Леона Гамбетта, потом направо по Кондорсе – и сразу налево, в искомую Петровомельничную (Каменномельничную);

путь несложный, недалний. Прежде чем пуститься в него, тоже выпил я кофе в *предотъездном* кафе, записывая первые впечатления, перебирая давние мысли.

«У меня незыблемая вера в Бога», – утверждает Бердяев (в записных – тоже – книжках, посмертно, в 1961 году, опубликованных в мюнхенском журнале «Мосты»). Вполне доверять дневникам и записным книжкам, конечно, нельзя. Может быть, и не всегда была эта вера такой – незыблемой, может быть, иногда все же – зыблилась. Но даже с этими оговорками – утверждение примечательное, поразительное. У меня незыблемая вера в Бога... Вот чего у меня никогда не было; не только – незыблемой, но – вообще никакой. Давид Юм писал когда-то: «Не только в поэзии и музыке, но и в философии мы должны следовать своему вкусу и чувству. Когда я убежден в каком-нибудь принципе, это значит только, что известная идея особенно сильно действует на меня». Вряд ли Бердяев был большим поклонником Юма – хотя Юм, как мы знаем из истории философии для дошкольного возраста, оказал решающее влияние на Канта, пробудив его от «догматической дремоты», Кант же, в свою очередь, весьма и весьма повлиял на Бердяева, – но с этим он бы, наверное, согласился. Юм говорит «вкус и чувство»; Бердяев говорил о «духовном опыте». В моем духовном опыте мне раскрывается то-то и то-то. А мне в моем духовном опыте раскрывается что-то иное. Мне – в моем духовном опыте – раскрывается полная невозможность верить в какого бы то ни было бога (с большой буквы, с маленькой буквы). И значит, думал я, заказывая у японок второе эспрессо, я не разделяю самую главную, фундаментальнейшую предпосылку всей их мысли и всех их мыслей – и Бердяева, и Маритена, и Пеги, и Блуа, и Паскаля, и почти всех, кого мне еще предстоит упомянуть на этих страницах. А все-таки я читаю религиозных мыслителей (воспользуемся этой сухой формулой), и только что перечисленных, и совсем других – и мейстера Экхарда, и Николая Кузанского, и, скажем, Симону Вейль, – целую долгую жизнь, не могу от них отвязаться (не так же ли, в сущности, как читал, не мог отстать от приверженцев и учителей веры – разных вер – Эмиль Чоран, самый, может быть, последовательный скептик из всех мне известных? или как читал их Альбер Камю, решительный атеист, мой герой? Камю, который, прежде чем отправиться в Стокгольм за Нобелевской премией, провел сколько-то времени, не знаю сколько, в квартире возле Люксембургского сада, где Симона Вейль жила до войны, не просто провел там сколько-то времени, но – сцена потрясающая! сцена из романа, в сущности (а вся жизнь Камю – это роман, один из лучших в двадцатом веке), – попросил оставить его в одиночестве, в ее комнате, собираясь с мыслями и укрепляясь душой, как если бы только она, Симона, к тому времени уже четырнадцать лет как покинувшая сей бранный и бранный мир, Симона Вейль, с ее слепящей искренностью и беспощадным пламенем мистического фанатизма, – как если бы только она одна, или память о ней, или дух ее, могли помочь ему справиться и с той светской ролью – фрак, король, безумие фотовспышек, дребедень интервью, – которую предстояло ему сыграть, и с тем потрясением, которым наверняка была для него, сына простой алжирской фабричной работницы, не умевшей не только писать и читать, но почти не умевшей и говорить, сама Нобелевка – которая, впрочем, была бы потрясением для любого из нас, независимо от происхождения и прочих привходящих обстоятельств). И мне вовсе не обязательно верить в Бога или вообще во что-то верить (или – не верить), чтобы оценить – что: оценить? – полюбить, навсегда запомнить! – бердяевскую, например, фразу из того же «Самопознания»: «Бог есть правда, мир же есть неправда». Ну, конечно, мир – это неправда, правда – это Бог. Я всегда это знал, всегда чувствовал так же, без всякого Бога. Или вот такое место, оттуда же: «Если Бог-Пантократор присутствует во всяком зле и страдании, в войне и в пытках, в чуме и холере, то в Бога верить нельзя, и восстание против Бога оправдано. Бог действует в порядке свободы, а не в порядке объективированной необходимости. Он действует духовно, а не магически. Бог есть Дух. Промысел Божий можно понимать лишь духовно, а не натуралистически. Бог присутствует не в имени Божьем, не в магическом действии, не в силе этого мира, а во всяческой правде, в истине, красоте, любви, свободе, героическом акте». Или, тут же: «Наиболее непри-

емлемо для меня чувство Бога как силы, как всемогущества и власти. Бог никакой власти не имеет. Он имеет меньше власти, чем полицейский. Категория власти и могущества социологическая, она относится лишь к религии как социальному явлению, есть продукт социальных внушений. Бог не имеет власти, потому что на Него не может быть перенесено такое низменное начало, как власть. К Богу не применимо ни одно понятие, имеющее социальное происхождение. Государство есть довольно низменное явление мировой действительности, и ничто, похожее на государство, не переносимо на отношения между Богом и человеком и миром. На Бога и божественную жизнь не переносимы отношения властвования. В подлинном духовном опыте нет отношений между господином и рабом». У меня перехватило, наверное, дыхание, когда я впервые прочитал это, в пору Тихона, прокуренной коммуналки, пустых бульваров, притихшей Москвы. Я так и относился, до сих пор отношусь к государству: как к чему-то навязчиво-низменному, мерзко-вязкому («власть отвратительна, как руки брадобрея», уж простите мне избитую цитату); всегда восставал против господства и рабства; всегда хотел быть только «свободным» (по бердяевской же классификации: «господин, раб и свободный»). У меня и теперь, случается, перехватывает дыхание, когда я перечитываю – «повторным фильмом» – эти слова. Я соглашался и соглашаюсь с ними, не делаясь верующим, не считая себя христианином. Это совпадает – еще как совпадает! как ничто другое совпадает! – с моим собственным «духовным опытом», с моим «вкусом и чувством», совершенно независимо от моей же веры или моего же неверия. Кажется, что этого не может быть, думал я, по-прежнему глядя на японок за стойкой и мужиков перед нею, на грязный пол, усыпанный беленькими вытянутыми фантиками от сахара – мужики, выпивая у стойки свое утреннее, или уже не очень утреннее, очередное за день, эспрессо, надрывали эти длинные сахарные упаковки, высыпали сахар в кофе, с видимым наслаждением крутили в чашечке крошечной, в их грубых пальцах – совсем крошечной, ложечкой, упаковки же, с неменьшим наслаждением, бросали просто-напросто на пол, – этого, кажется, и быть не может, я думал, но все же это именно так. Совершенно независимо от веры или неверия, но бердяевский Бог – единственный, которого я могу принять, которого, не веря, я могу, по крайней мере, помыслить. И дело даже не в том, что есть страницы в «Самопознании» (я только что их цитировал), где ему удалось сказать что-то самое важное о себе (а кому это вообще удастся?), но дело в том (думал я), что есть страницы в «Самопознании», где ему удалось сказать что-то самое важное – обо мне. Вот почему я сижу здесь, глядя на этот не подметенный японками пол, эти лотерейные билеты, сигареты, газеты, продаваемые из-за стойки, ближе к выходу, молоденьким тоже японцем, круглолицым и невозмутимым, как все японцы, младшим, наверное, братиком хозяек заведения, теперь куда-то скрывшихся, отправившихся, быть может, на кухню готовить обед (по-французски, разумеется, завтрак, *déjeuner*), уже оповещавший о своем приближении прогорклым запахом пережаренного постного масла. Мне слишком нравятся надорванные фантики, подробности бытия, чтобы я мог быть философом.



Не успел я по проспекту Жана Жореса дойти до улицы Гамбетта, как обнаружилась коротенькая, перерезавшая проспект, улица Паскаля – который весьма бы удивился, наверное, узнав о своем соседстве с республиканцем и социалистом, – обнаружился, с соответствующей надписью, угловой дом из чудного, темно-серого, на ощупь прохладно-шершавого, почти колючего камня. Соблазн *свернуть на Паскалевскую* был, конечно, велик. Не свернуть ли нам на Паскалевскую, мадам? Никакой *мадам* со мной рядом не было, да и улица оказалась скорее тупичком, чем улицей, так что от соблазна я удержался – только любимые цитаты запели, не могли не запеть, в моей переполненной цитатами голове: начиная с той, которую Лев Шестов, друживший, как известно, с Бердяевым (они даже были на «ты» – большая редкость и ценность для людей их среды и эпохи) и сколько раз, наверное, проходивший по этим улицам, мимо этих домов, поставил эпиграфом к своей статье о Паскале – «Гефсиманская ночь», – которая (и статья, и цитата), тоже в юности, в той же юности (повторный фильм, Тихон и коммуналка) столь сильное произвела на меня впечатление, что я чуть ли не первым делом разобрал ее в оригинале, когда начал учить французский, к немалому изумлению хорошенькой белокудрой преподавательницы, к которой ходил на частные уроки в Большую Бронную улицу, почти рядом, в сущности, с Тихоновым прокуренным обиталищем – о чем я писал уже, впрочем, в «Городе в долине», так что не буду здесь повторяться, но – возвращаясь к цитате, гласящей, что Иисус пребудет в агонии до конца света и что нельзя спать в это время (*Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde: il ne faut pas dormir pendant ce temps-là...*); – начиная, значит, вот с этой (а ведь мы всегда спим, наша жизнь проходит во сне, и если есть у нас какая-то задача, то – пробудиться, проснуться...) и заканчивая той знаменитой, заезженной и слишком часто, если я смею судить, неправильно понимаемой, – той цитатой о *доводах сердца*, недоступных разуму (*le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point*), которая замечательна, не в последнюю очередь, своей исчезающей в переводе игрою слов, поскольку «довод», «резон» по-французски – *raison*, и разум тоже – *raison*. У сердца свои резоны, неведомые – резону. У старших на это

свои есть резоны; бесспорно, бесспорно смешон твой резон... Резон у Пастернака рифмуется, увы, с горизонтом, и все вместе представляется мне порядочной чепухой. Все же и эти стихи я помню лет с шестнадцати; никогда, наверное, не забуду. Резон – смешон, но он есть – у сердца. Сердце – несмотря ни на что – хочет и требует того, в чем разум отказывает ему. Но сердце, как бы ты хотело, чтобы и вправду было так... здесь, сказал я сам себе, мы оборвем, на время, цитатную оргию.



Еще я думал, стоя на углу Паскалевской, преодолевая соблазн пойти по ней, о том, как мне нравится и как всю жизнь влечет меня материальность мира, материя мира, вот эти камни с их шершавой прохладой. Бердяев пишет в том же «Самопознании», что он никогда не любил материи, всегда любил только форму. Впрочем, от «материи» тут же переходит он к «телу», утверждая, что «форма тела» не материальна, а духовна, что она относится к личности и наследует вечность, материя же («плоть и кровь») не наследует. О плоти и теле (личности, вечности...) поговорим, пожалуй, чуть позже. А вот эти камни – они что: материя или форма? Они, по-моему, и то, и другое. Мне нравится смотреть на них («форма»), но мне нравится, очень нравится до них дотрагиваться («материя»), ощущать под ладонью их неровности, выступы, углубления, трещины, углы, грани, зернышки, выемки, к немалому, похоже, изумлению проходящей мимо старушки с зеленоватой завивкой и пластиковым пакетом из соседнего магазина Super U (красное U на нем полыхало, как раскаленная подкова) в тоже красной, подагрически гнутой руке; из всей же материи (думал я далее) меня всю жизнь особенно привлекала та, что превращается – в материал, или уже задумана как – материал, материал для строительства, строительный материал, стройматериал, будь то камень, дерево, бетон, стекло, цемент, кирпич, металл и так далее. «Какой безумец согласится строить», – писал Мандельштам в «Утре акмеизма», – если он не верит в реальность материала, сопротивление которого он должен победить. Булыжник под руками зодчего превращается в субстанцию, и тот не рожден стро-

ительствовать, для кого звук долота, разбивающего камень, не есть метафизическое доказательство»; слова для меня, признаться, важнейшие. Они не зря стоят именно там, где стоят, в манифесте акмеизма; здесь (я думал) проходит водораздел не только между поэтическими школами, но и между двумя поколениями, даже двумя веками... а впрочем, и по этой улице я сейчас не пойду; я еще только намечаю («строительствуя») план и схему моей, уже для меня зримой книги; ее возможные маршруты; грядущие повороты.

Это какая улица? – Улица Мандельштама... Паскалевская есть в разных французских городах, городках, городишках. Улицы Бердяева (rue Berdiaev, или rue Berdiaeff) нет ни в одном. А есть ли хоть в одном русском? Тоже, наверное, нет. Они еще будут; не сомневаюсь в этом. Во всем сомневаюсь; в этом не сомневаюсь. В бесчисленных французских городишках, городках, городах есть, во всяком случае, rue Gambetta, улица Леона Гамбетта, одного из основателей Третьей французской республики, впоследствии ее, республики, премьер-министра, министра иностранных, всегда запутанных, дел. Другим основателем этой же республики был Жюль Фавр, дедушка (по материнской линии) Жака Маритена, до медонского дома которого (если читатель еще не забыл) я и собирался дойти от бердяевского (наяву; на этих страницах собираюсь дойти теперь); именно он, ранним (очень ранним) утром (в полвторого ночи, читал я где-то) 4 сентября 1870 года (через четыре дня после трагического поражения французов под Седаном) объявил в Законодательном корпусе (так назывался в ту историческую минуту парламент) о низложении Третьего Наполеона. Вот так все связано; все всегда со всем связано, думал я (я это часто думаю), обходя круглую площадь, одну из тех типично французских круглых, с фонтаном или клумбой, площадей, куда втекает несколько улиц, обращенных к ней узкими ребрами сужающихся домов. Здесь с вокзальной стороны, откуда пришел я, дома еще были парижские, конца, похоже, позапрошлого века, пяти- и шестиэтажные, с металлическими черными резными решетками балконов, с каменными козырьками мансард. А с другой стороны был вполне пригород; тихой, пригородной и совсем не парадной оказалась улица помянутого только что Леона Гамбетта, довольно плотно застроенная очень каменными, двух- и трехэтажными домами, если угодно – виллами, уже явно стоявшими здесь и в двадцатые, и в тридцатые годы, когда и Бердяев, и Шестов, и все прочие шли мимо них, вот так же, чуть в гору, как и я шел, глядя на их, домов и вилл, разнообразную кладку, острые коньки их крыш, их зеленые ставни, зеленые газончики между ними, вечнозеленые кусты за железными изгородями и то розовое – миндаль? или сакура? – что уже начинало, еще неуверенно, цвести в этот позднемартовский, прохладный и бело-облачный, хороший для фотографии, день.

Гамбетта, между прочим (через месяц после того, как они с Жюлем Фавром, дедушкой Маритена, провозгласили сперва – низложение Наполеона Третьего, затем, на площади перед ратушей, куда им удалось увести ворвавшуюся в здание парламента и охваченную революционным порывом толпу парижан, – основание Третьей республики): Гамбетта, через месяц, 7 октября все того же 1870 года, улетел из осажденного пруссаками и отрезанного от остальной Франции Парижа на воздушном шаре; эпизод, поразивший, пленивший меня более всех других, когда в детстве читал я что-то (вот не могу теперь вспомнить, что именно) по истории (и предыстории) Парижской коммуны. Воздушные шары вообще играют в этой истории немалую роль. Уже в первую, Великую революцию их начали использовать в военных целях; битва при Флёрюсе (bataille de Fleurus; 26 июня 1794) была выиграна французами не в последнюю очередь благодаря аэростату со звонким названием L'Entrepreneur («Предприимчивый»); не только сведения о расположении войск англо-австро-ганноверской коалиции, доставленные двумя сидевшими в корзине офицерами, сыграли решающую роль в исходе сражения, но и само появление над полем битвы этого доселе никем не виданного, хочется сказать – существа, медленно и безмолвно, в своем собственном пространстве и времени парящего над земной яростью, болью, страхом, отвагой, над пороховым дымом и адом, над подыхающими лошадьми, погибающими солдатами. Это был первый революционный воздушный шар, построенный, между прочим, не

где-нибудь, а – в Мёдоне, до которого я собирался дойти, и впервые взлетевший (полетавший немного над Сеною) не когда-нибудь, а – 29 марта 1794 года, ровно, значит, день в день, за двести двадцать три года до моей кламарско-мёдонской прогулки (и всего через десять с половиною лет после самого первого полета двух бесстрашных добровольцев на аэростате, построенном братьями Монгольфье, 21 ноября 1783 года; двумя месяцами ранее в недолгое пробное путешествие, в изумленном присутствии еще не свергнутого Людовика XVI, были отправлены овца, курица и утка, в память о Ноевом, кажется мне, ковчеге и без всякой задней мысли о Белке и Стрелке, героях нашего детства, о которых мы теперь не можем, конечно, не вспомнить).

Почти столетием позже, во время Франко-прусской войны и революции 1870 года, аэростатное дело уже так продвинулось, что из осажденного бисмарковскими войсками Парижа всего за полгода вылетело (прочитал я недавно) шестьдесят шесть шаров, из которых пруссакам удалось захватить всего пять. Другой связи с миром у парижан и не было, разве что почтовые голуби. Они и перевозили почту (соревнуясь с голубями), эти шары; иногда переправляли в не захваченный немцами мир кого-нибудь важного, с особою миссией, например и как уже сказано – Леона Гамбетта, посланного революционным «Правительством национальной обороны», как оно себя называло, налаживать эту самую оборону в провинции (что ему в большой мере и удалось); свидетелем его вылета был, кстати, Виктор Гюго, как раз месяцем ранее, в самый разгар переворота, триумфально возвратившийся из двадцатилетнего изгнания в Париж; в своем дневнике он рассказывает, как, гуляя по бульвару Клиши, увидел в конце одной улицы, ведущей к Монмартру, воздушный шар, пошел в ту сторону, обнаружил толпу на большой квадратной площади, замкнутой острыми скалами Монмартра. Это я перевожу теперь: площадь; он пишет просто: пространство, un grand espace carré. Оно лишь поздней стало площадью, это пространство – и затем опять перестало ей быть, сохранив лишь название – площадь Св. Петра, place Saint-Pierre, – в действительности превратившись в неширокую улицу, с одной стороны – туристически-ресторанно-лавочно-сувенирную, с другой – ограниченную решеткой, за которой начинается, собственно, Монмартрский холм, парк, бесконечная лестница, ведущая к базилике Sacré-Coeur. Там было три шара, пишет Гюго: большой, желтый; средний, белый; и маленький, желто-красный. В толпе шептались: Гамбетта отправляется. Я увидел, в самом деле, Гамбетта, в широком пальто, в шапке из выдры (sous une casquette de loutre), возле желтого шара. Он сел на мостовую и надел сапоги на меху (des bottes fourrées). У него была кожаная сумка на плечевом ремне (un sac de cuir en bandoulière). Он ее снял, зашел в корзину, и один молодой человек, воздухоплаватель, прикрепил эту сумку к веревкам, над головой Гамбетта. Была половина одиннадцатого. Прекрасная погода, легкий южный ветерок, нежное осеннее солнце. Внезапно желтый шар с тремя людьми, один из них – Гамбетта, поднялся в воздух. Потом белый шар, тоже с тремя людьми на борту, один из которых махал трехцветным флагом. Толпа кричала: Да здравствует республика! Два шара поднялись, белый выше желтого, потом они начали снижаться. Они сбросили балласт, но все равно продолжали снижаться. Они скрылись за Монмартрским холмом. Им пришлось приземлиться на равнине Сен-Дени. Они были перегружены, или ветер слишком слаб. Все-таки вылет состоялся, заканчивает Гюго после отступа, шары вновь поднялись в воздух.



Никакого дела нет мне, конечно, до французской революции 1870 года, даже и до республики, хотя я вижу все сцену очень ясно: восторженную толпу в длинных платьях и сюртуках, в цилиндрах и шляпах, утесы Монмартрского холма, ныне скрытые парком и лестницами, пейзаж еще почти сельский (Монмартр только в 1860 году присоединен был к Парижу), широкого, плотного, кривого Гамбетта (он в юности поранил себе правый глаз, почему его всегда изображали в профиль; так, в профиль, снимал его и великий Надар – Надар, между прочим, который был не только фотографом, не только другом Бодлера, но и одним из пионеров воздухоплавания, организатором всего этого аэростатного дела в осажденной германскими варварами столице цивилизации), с окладистой (закрываю скобки), еще не седой бородою, в несуразно теплой для парижской осени, тяжелой одежде – и эти огромные аэростаты, несоизмеримые с дольным миром, легко и тихо, в прозрачном сне, взлетающие в чистое небо над скалистым холмом, над его вершиной, где еще нет никакой белоснежной базилики (ее через пять лет только начали строить), затем медленно, так же тихо опускающиеся за ним (холмом), чтобы вскорости снова взлететь. Это просто символ (что угодно может быть символом). Улететь куда-нибудь к черту, на воздушном шаре, из осажденного города. И на воздушном шаре, может быть, полечу, как говорил Свидригайлов. Из осажденного города, из опустылевшей жизни... Я думаю, Бердяеву этот символ был бы близок, эта мечта понятна. Ему было неуютно в жизни, как и мне в ней всегда неуютно. «Я изначально чувствовал себя попавшим в чуждый мне мир», – пишет он во все том же «Самопознании», чуть ли не в первых строках. А вот запись в дневнике Лидии Бердяевой (этот дневник – для нас источник важнейший – был издан лет пятнадцать назад под, увы, безвкуснейшим названием «Профессия: жена философа»; но все-таки хорошо, что был издан), причем запись, сделанная здесь, в Кламаре, 5 июля 1936 года: «С раннего утра *Ни* (так она называет мужа) укладывается и, как всегда, перед отъездом волнуется, суетится. Все житейские дела даются ему с большим трудом. Он так неприспособлен к практической жизни. Всякая мелочь его затрудняет, и он, как ребенок, теряется, не знает, что делать. „У меня всегда

такое чувство, еще с детства, что мне в жизни неудобно. Будто я попал в чуждую и враждебную мне обстановку и не знаю, как мне быть”, – говорит он». Мне в жизни неудобно... И мне неудобно, и (мне кажется) всем неудобно. А все, почти все притворяются (тоже кажется мне иногда), все стараются сделать вид, что они в жизни – дома. Сидишь, бывает, в кафе, наблюдая за посетителями, как я сидел только что в «Предотъездном», где, впрочем, кламарские мужички почти не притворялись и почти не выделялись, а вот сидишь где-нибудь в парижском кафе, или мюнхенском, или московском, наблюдаешь за посетителями, смотришь, как они откидываются на стуле, как отставляют от себя свой кофе, как многозначительно смотрят в пространство, как склоняются к собеседнице, как и руки складывают, случается, на груди – и ясно, злобно, отчетливо думаешь, что врут они все, что на самом деле им так же плохо и тошно в жизни, как тебе, и если не совсем уж плохо и тошно, то все равно и для них тоже все – не так, не по размеру и не с руки. Есть, не побоюсь этого слова, гениальная фраза в дневниках Томаса Манна, формула моей жизни. Душевно и телесно страдает он от того обстоятельства, пишет Томас Манн, что трусы № 4 ему всегда малы, а № 5 – всегда велики. Телесно, прошу заметить, и – душевно страдает он от этого обстоятельства. Жизнь нам несоразмерна, вот в чем все дело. Жизнь – жмет. Потом жизнь – жжет (но об этом – потом). Евгения Герцык, приятельница Бердяева и сестра поэтессы Аделаиды Герцык, описывает в своих мемуарах (замечательных; из лучших, какие вообще есть о том времени, о символизме и людях символизма) характерный для Бердяева жест «как бы высвобождения шеи из всегда тугого крахмального воротника»; она же рассказывает, как он кричал по ночам, как «хватался за ворот сорочки, разрывал ее на себе». Отсюда же, вероятно, или хоть отчасти отсюда, от этого отталкивания, если не прямо отвращения от жизни, и знаменитый бердяевский тик, пугавший неподготовленных собеседников: вдруг, посреди разговора или лекции, лицо его искажалось судорожной гримасой, главное – далеко, неудержимо, во всю свою мощь вываливался язык. А между прочим, в йоге есть такая поза – «поза льва», – когда ты стоишь на четвереньках, опираясь на пальцы, высовываешь язык и рычишь что есть силы; я это иногда продельваю; очень помогает в душевных невзгодах.



В «Самопознании» несколько раз пишет он про свою «страшную брезгливость к жизни», которая ему самому казалась чем-то «мучительным и дурным». «Я прежде всего человек брезгливый, и брезгливость моя и физическая, и душевная. Я старался это преодолеть, но мало успевал. У меня совсем нет презрения, я почти никого и ничего не презираю. Но брезгливость ужасная. Она меня всю жизнь мучила, например, в отношении к еде. Брезгливость вызывает во мне физиологическая сторона жизни. Я прошел через жизнь с полужакрытыми глазами и носом вследствие отвращения. Я исключительно чувствителен к миру запахов». Против брезгливости помогает одеколон. «У меня страсть к духам, – признается он. – Я хотел бы, чтобы мир превратился в симфонию запахов. Это связано с тем, что я с болезненной остротой воспринимаю дурной запах мира». Я хотел бы, чтобы мир превратился в симфонию запахов... Бердяев вообще был щеголь. «Я всегда одевался элегантно, у меня была склонность к франтовству, и я обращал большое внимание на внешность». Он бы, конечно, не согласился, даже оскорбился бы, вероятно, посмей кто-нибудь обзвать его эстетом, а все же что-то было в нем от «эстета», поклонника всего «прекрасного». «Я не эстет по своему основному отношению к жизни и имею антипатию к эстетам. Моя преобладающая ориентировка в жизни этическая. По типу своей мысли я моралист. Но у меня всегда был сильный чувственно-пластический эстетизм, я любил красивые лица, красивые вещи, одежду, мебель, дома, сады. Я люблю не только красивое в окружающем мире, но и сам хотел быть красивым. Я страдал от всякого уродства. Прыщик на лице, пятно на башмаке вызывали уже у меня отталкивание, и мне хотелось закрыть глаза». А он и в самом деле был красавец, и в молодости, и, по-иному, в старости. На юношеских фотографиях (не всех) он даже как-то избыточно красив; недаром же говорил он, что его «негативом» был Ставрогин («слишком яркий цвет лица, слишком черные волосы, лицо, похожее на маску»). «Бердяев был щеголеват, пишет Борис Зайцев, носил галстуки бабочкой, веселых цветов, говорил много, пылко, в нем сразу чувствовался южанин – это не наш орловский или калужский человек. (И в речи юг: проблэма, сэрдце, станыция). В общем облик выдающийся.

Бурный и вечно-кипящий». На поздних фотографиях этого уже нет. Но и на поздних, рядом с серо-суровыми, профессорского вида, участниками разнообразных эмигрантских или не-эмигрантских встреч и конференций, декад в Понтины или съездов РСХД, он выглядит как особенный, отдельный человек, рыцарь среди обывателей, феодал среди буржуа. «По характеру я феодал, сидящий в своем замке с поднятым мостом и отстреливающийся». И до конца, в самые скудные годы, видно, как он следил за своим туалетом. Одна из лучших книг о Бердяеве написана Дональдом Лаури (или Лоури; Donald Lowrie), крупным деятелем YMCA (Young Men Christian Assosiation, если кто-то почему-то не знает), одним из организаторов ее русской ветви (РСХД, Русского студенческого христианского движения, если кто-то почему-то забыл), соответственно и столь нам памятного, столь любимого нами издательства, от которого теперь остался, кажется, только книжный магазин на rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, мимо которого (мне рассказывали) советские граждане, случайно оказавшиеся в Лютеции, боялись проходить даже мимо, перебегали на другую сторону узкой улицы и в который я захожу теперь в почти каждый свой парижский приезд, в надежде, обыкновенно сбывающейся, найти там еще что-нибудь чудесное из того, что они успели и сумели издать до войны, после войны...; книга эта, называемая *Rebellious Prophet*, «Бунтующий пророк», *A Life of Nicolai Berdyaev* (1960), замечательна среди прочего тем, что ее автор хорошо знал своего героя, да и писал по горячим следам, еще мог расспросить других свидетелей, других современников, ту же Евгению Рапп, охотно и откровенно, как мне кажется, отвечавшую на его вопросы. Конечно, рассказывает Лоури, Бердяев почти не занимался хозяйством – дом вели жена и свояченица, – все же он, случалось, ходил за покупками, причем почему-то всегда со старой обтрепанной сумкой, где мирно погромыхивали бутылки с молоком и вином; ходил, может быть, вот сюда, вот в эту лавочку на углу улицы Кондорсе и мною искомой (уже найденной) Петровомельничной (Каменномельничной), если существовала тогда эта лавочка; во всяком случае, по вот этим улицам, выходя из того дома и возвращаясь в тот дом, до которого я уже почти дошел, фотографии которого, как заметил читатель, уже начали появляться в тексте, предвосхищая близкое будущее, следующую страницу; прохожие, пишет Лоури, поражены бывали контрастом между этой обтрепанной сумкой – и самим господином, тащившим ее домой, изысканно одетым, с благородной бородкой, при галстукe, как же иначе, в облаке дорогого одеколona.

Мы все сотканы из противоречий (как мы все давно уже и заметили). Что до Жюль Фавра, дедушки Маритена (вернемся к нему на мгновение), то, в отличие от своего друга и соратника Гамбетта, он на воздушном шаре никуда, кажется, не летал, зато вел переговоры с Бисмарком, потребовавшим отдать ему, железному канцлеру, Лотарингию и Эльзас, иначе мира не будет. Мир в конце концов был подписан во Франкфурте, причем подписан на том самом месте, где стоит теперь едва ли не самый большой и центральный франкфуртский книжный магазин, Hugendubel, и где тогда стояла гостиница «У лебедя», погибшая, как почти все во Франкфурте, в бомбежках Второй мировой войны; я часто бываю там, не только затем, конечно, чтобы проверить, не случилось ли чего с табличкой, сообщающей человечеству, что вот именно на этом месте, не где-нибудь, Отто фон Бисмарк и Жюль Фавр подписали «Франкфуртский мир». На гравюрах того времени лысо-усатый канцлер в военном мундире весьма неодобрительно смотрит на штатского республиканца Фавра, похожего на какого-то англиканского, что ли, священника, с лопатисто-клокастой седой бородой, широко охватывающей выбритое пространство вокруг уверенного в себе рта (таким же изобразил его на фотографии и великий Надар). А он и был протестант, этот дедушка Маритена; был юрист, сенатор, член Французской академии; его дочь вышла замуж за совсем, судя по всему, не верующего адвоката, Поля Маритена, в начале своей карьеры – секретаря Фавра, затем, похоже, предпочитавшего парижским политическим и прочим страстям тихую жизнь эпикурейца и вольнодумца, в бургундской провинции. Это значит, что будущий убежденный томист, как-никак один из самых знаменитых и влиятельных католических философов XX века, вырос в семье и среде совсем не религиозной (во Франции

того времени, да, кажется, и не только того времени, республиканство и католичество вообще плохо уживались друг с другом, до сих пор с трудом уживаются); его воспитывали, как сам он пишет, в духе «либерального протестантизма», не очень сильно отличавшегося, судя по всему, от простого неверия.

Бердяев, как, опять-таки, сам он пишет (все в том же «Самопознании»), тоже не получил религиозного воспитания, а если получил, то лишь то формальное, которое нельзя было не получить в его время («закон Божий» и все такое прочее; в кадетском корпусе, куда его отдали мальчиком, к его величайшему несчастью, он ухитрился однажды схлопотать, при двенадцатибалльной системе, прямо-таки единицу по этому самому «закону Божьему»; «священник не предвидел, что я буду автором многих книг по религиозной философии», замечает он не без яду). «У меня не было традиционного православного детства, я не изощел ни от какой наивной ортодоксии». Его отец, рассказывает Бердяев, был «вольтерианец-просветитель», во вторую половину жизни сочувствовавший религиозным идеям Толстого. «Он верил в Бога в деистическом смысле. Почитал Иисуса Христа, но христианство сводил исключительно к любви к ближнему». «За обедом он любил нападать на Библию и на церковь и высмеивать традиционные взгляды. Это вызывало у матери реакцию, и она говорила: *Alexandre, si tu continues, je m'en vais*». А сама мать, урожденная княжна Кудашева, была полуфранцуженка, дочь некоей графини Шуазель (Бердяев, как, наверное, известно читателю, был происхождения вполне аристократического); «она получила французское воспитание, в ранней молодости жила в Париже, писала письма исключительно по-французски и никогда не научилась писать грамотно по-русски. Будучи православной по рождению, она чувствовала себя более католичкой и всегда молилась по французскому католическому молитвеннику своей матери. Я шутя ей говорил, что она никогда не перешла с Богом на ты». Не перешла с Богом на ты – французы, как известно, и, кажется, только они одни (пусть знающие люди поправят меня) обращаются на вы к Богу: Вы, Господи, *Vous, Seigneur mon Dieu!* «*Et vous, Seigneur mon Dieu, а Вы, Господи Боже мой, окажите мне милость и позвольте создать несколько прекрасных стихов, которые убедят меня самого, что я не последний из людей, что я не хуже тех, кого презираю...*» Бодлер, «Парижский сплин»; строки незабываемые; и может быть, единственная молитва, которую я могу повторить, с которой готов согласиться. В Бога я не верю, но если он поможет создать хотя бы несколько прекрасных стихов, то пусть будет... Бог с ним. Как бы то ни было и при всем моем атеизме, это обращение на вы к Господу всегда мне нравилось; в нем есть что-то рыцарственное; как и в обращении на вы к Богородице, каковое обращение сразу делает ее, хоть отчасти, Прекрасной дамой, «Нашей Дамой», *Notre Dame*, как не случайно же называют ее во Франции. *Étoile du matin, inaccessible reine, Voici que nous marchons vers votre illustre cour...* Утренняя звезда, недоступная царица, вот мы идем к Вашему преславному двору... Шарль Пеги, столь много значивший для всех наших персонажей, писал так, превращая в стихи свое, вполне реальное, пешим ходом, паломничество из Парижа в Шартр, к собору, следовательно, шартрской «Нашей Дамы», *Notre Dame de Chartes*, куда и я отправился через примерно год после вот этого моего кламарско-медонского полупаломничества, паломничества атеиста по следам религиозных философов (о чем не премину рассказать в свое время). В этом рыцарственном обращении нет, наверное, той теплоты и близости, которое есть в русском «сердечном ты» («Я, Мать Божия, ныне с молитвою, пред твоим образом, ярким сиянием...»); зато в нем есть – даль; а у дали свое достоинство; достоинство дистанции, которого нам, русским, так иногда не хватает. У Бердяева оно как раз было; Бердяев был рыцарь и аристократ; в своей религиозной жизни, кажется, тоже. Пожалуй, и про него самого можно сказать, что он не перешел или не совсем перешел с Богом на ты. Поэтому – за что мы его и любим – в нем нет ничего умильного, ничего елейного. То есть совсем ничего, никогда. Во всех хоть сколько-то «религиозных» писателях чуть-чуть, пусть изредка и ненароком, прорывается эта елейность,

умильность; в Бердяеве – никогда, ни на грош. Дистанция есть условие диалога. Для диалога нужны двое. Нужно «самостояние» личности, предстоящей своему *другому*,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.